

АЛЕКСАНДР  
СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

АВГУСТ  
ЧЕТЫРНАДЦАТОГО  
КНИГА 1

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Собрание сочинений в 30 томах

Александр Солженицын

**Красное колесо. Узел 1. Август  
Четырнадцатого. Книга 1**

«WebKniga»

**Солженицын А. И.**

Красное колесо. Узел 1. Август Четырнадцатого. Книга 1 /  
А. И. Солженицын — «WebKniga», — (Собрание сочинений в 30  
томах)

ISBN 978-5-9691-1041-0

Седьмой том открывает историческую эпопею в четырех Узлах «Красное Колесо». Узел I, «Август Четырнадцатого», состоит из двух книг. Книга первая посвящена самсоновской катастрофе – окружению и разгрому Второй русской армии в начале Первой мировой войны.

ISBN 978-5-9691-1041-0

© Солженицын А. И.

© WebKniga

## Содержание

Действие первое	5
Узел I	5
Книга 1	5
1	5
2	11
3	16
4	20
5	25
6	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

# **Александр Исаевич Солженицын**

## **Красное колесо**

### **повествование в отмеренных сроках**

#### **Действие первое**

#### **Революция**

*Только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора... К  
топору зовите Русь.  
из письма в «Колокол», 1860*

#### **Узел I**

#### **Август Четырнадцатого**

#### **10–21 августа ст. ст**

#### **Книга 1**

#### **1**

*Кавказский Хребет. – Саня Лаженицын едет на станцию. – Свое станичное. –  
Первые газеты. – Встреча с Варей. – Её зов. – Как они встречались  
раньше. – Впечатления Вари от первых дней войны. – Её отговоры.*

Они выехали из станицы прозрачным зорным утром, когда при первом солнце весь Хребет, ярко белый и в синих углубинах, стоял доступно близкий, видный каждым своим изрезом, до того близкий, что человеку непривычному помнилось бы докатить к нему за два часа.

Высился он такой большой в мире малых людских вещей, такой нерукотворный в мире сделанных. За тысячи лет все люди, сколько жили, – доотказным раствором рук неси сюда и пухлыми грудями складывай всё сработанное ими или даже задуманное, – не поставили бы такого сверхмыслимого Хребта.

От станицы до станции так вела их всё время дорога, что Хребет был прямо перед ними, к нему они ехали, его они видели: снеговые пространства, оголённые скальные выступы да тени угадываемых ущелий. Но от получаса к получасу стал он снизу подтаивать, отделился от земли, уже не стоял, а висел в треть неба и запеленился, не стало в нём рубцов и рёбер, горных признаков, а казался огромными слитными белыми облаками. Потом и облаками уже разорванными на части, уже не отличимыми от истых облаков. Потом и их размыло. Хребет вовсе изник, будто был небесным видением, и впереди, как и со всех сторон, осталось небо сероватое, белесое, набирающее зноя. Так, не меняя направления, они ехали больше пятидесяти вёрст, до полудня и за полдень, – но великанских гор перед ними как не бывало, а подступили близкие округлые горки: Верблюды; Бык; плешивая Змейка; кудрявая Железная.

Они выехали ещё не пыльной дорогой, ещё росной прохладной степью. Они проехали те часы, когда степь звенела, вспархивала, щебетала, потом посвистывала, потрескивала, пошуршивала, – а вот уж к Минеральным Водам, волоча за собой ленивый пыльный взмёт, подъезжали в самый мёртвый послеполуденный час, и отчётливый звук был только – мерное постукивание их таратайки, дерево об дерево, а копытами в пыль становились лошади почти неслышно. И все тонкие запахи трав за эти часы были и перешли, а теперь настоялся один знойный солнечный запах с подмесью пыли, и так же пахла их таратайка, и сенная подстилка, и сами они – но, степнякам от первой детской памяти, этот запах был им приятен, а зной – не утомителен.

Отец пожалел дать им рессорную бричку, берёг, оттого на рыси их трясло и колотило, и бо́льшую часть дороги они проехали шагом. Ехали они меж хлебов и между стад, миновали и солончаковые проплешины, перекаtywали пологие холмы, пересекали отлогие балки, с близкой водой и сухие, ни одной настоящей реки, ни одной большой станицы, мало кого встречая, мало кем обогнанные по воскресному малолудью, – но Исаакию, и всегда терпеливому, особенно сегодня, по настроению и замыслу его, совсем не тягостны были эти восемь часов, а мог бы он и шестнадцать проехать так: из-под дырявой соломенной шляпы – посверх лошадиных ушей, да придерживая возжи ненужные.

Евстрашка, младший, от мачехи, братишка, – эту всю дорогу ему сегодня же ворочаться в ночь, – сперва спал на сене за спиной Исаакия, потом вертелся, на ноги поднимался, разглядывая в траве, соскакивал, отбегал, догонял, полно было ему дел, ещё и рассказывал или спрашивал: «А почему, если закроешь глаза, кажется – назад едешь?»

Сейчас перешёл Евстрат во второй класс пятигорской гимназии, но сперва, как и Исаакия, его соглашался отец отпустить только в ближнюю прогимназию: остальные ведь, старшие братья и сёстры, не знали не видели ничего, кроме земли да скота да овец, и жили же. Исаакий был пущен учиться на год позже, чем надо, и после гимназии год передержал его отец, не давая себе сразу втолковать, что теперь какой-то нужен университет. Но как быки сдвигают тяжесть не урывом, а налогом, так Исаакий брал с отцом: терпеливым настоянием, никогда сразу.

Исаакий любил свою родную Саблю, и хутор их в десяти верстах, и сельскую работу, и теперь, в каникулы, нисколько не отлынивал ни от косьбы, ни от молотьбы. В понимании своего будущего он как-то рассчитывал соединить свою первородную жизнь и набранное в студенчестве. Но, что ни год, выходило напротив: учение безповоротно отделяло его от прошлого, от станичников и от семьи.

Во всей станице двое их было, студентов. Удивленье и смех вызывали среди станичников их рассуждения, их вид, – и едва приехав, спешили они переодеваться в своё старое. Впрочем, одно было приятно Исаакию: станичная молва почему-то отделила его от другого студента и назвала – с издёвкой же — *народником*. Кто это первый прилепил и как это выложилось, а все дружно стали кликать его «народником». Народников давно уже в России не было, но Исаакий, хоть никогда б не осмелился так представиться вслух, а понимал себя, пожалуй, именно народником: тем, кто ученье своё получил для народа и идёт к народу с книгою, словом и любовью.

Однако даже в родную семью возврат был почти невозможен. Три года назад уступивши непонятному университету, отец уже не менял решения, не брал назад, но испытывал как свою ошибку, как потерю сына. Только и видел он в нём прок на каникулах – взять Саньку на сельские работы, а в остальные отлучные месяцы развидеть смысла учёности не мог.

Да с отцом осталось бы у них сродно, когда б не мачеха Марфа – бойкая, властная, жадная, стягивала дом под свою руку, свобода простор для детей своих. Старшие братья и сёстры Исаакия уже отделились, по мачехе чужел и отец, и дом родной. Приглядысь, позадумывался Саня ещё и пареньком: как же тяга эта ведёт человека всего, и долго, если, за сорок овдовевши, отец привёл вторую жену двадцатилетнюю, а этакой бабе молодой проворной, сам теперь ошестидесят, уставу твёрдого положить не мог и не многое сам решал.

Да и воззрения новоприобретаемые отдаляли Исаакия. В детстве знал он немудро, без-понятно посты и праздники, босиком ко всенощной, – а потом от становой народной веры кто только его не отклонял. И Саблинская сама, и вся округа их была просеяна сектами – молоканами, духоборами, штундистами, свидетелями Иеговы, из секты была и мачеха, стал насчёт церкви теряться и отец, споры о верах были излюбленные в их местности в досуг, Саня много ходил прислушивался, пока воззрения графа Толстого не отодвинули ему эти все разноречия. Сумятица умов была и в городах, образованные друг друга тоже не все понимали, а учение Толстого так убедительно укладывало в мире всё, требуя одной лишь правды. Увы, и толстовская правда в отношениях с семьёй привела Саню, наоборот, ко лжи: так, став вегетарианцем, нельзя было объяснить, что делает это по совести, – позор и смех поднялся бы и по семье и среди станичных; пришлось начинать со лжи, что не есть мясного – это медицинское открытие одного немца, обеспечивает долгую жизнь. (А на самом деле, накидавшись снопами, тело до дрожи требовало мяса, и ещё самого себя надо было обманывать, что довольно картошки и фасоли.)

Отчуждение от семьи облегчило Исаакию и нынешнее решение, с чем уезжал он теперь, – но и тут открыться не мог, пришлось и тут солгать, что требуется ему ехать в университет на практику прежде времени, и саму эту *практику* придумывать и втолковывать простодушному отцу.

Три недели войны отозвались до сих пор в их станице лишь двумя царскими манифестами, на Германию и на Австрию, прочтёнными в церкви и вывешенными на церковной площади, да двумя отъездами запасных, да ещё отдельным отгоном коней в уезд, потому что числилась теперь станица Саблинская не казаками терскими, а кацапами. Во всём же другом как не было войны: не попадали в их станицу газеты, и письмам из Действующей армии было рано, – да ещё понятия такого не было «письма», до сих пор «получать письма» в их станице было нескромностью, выделением, Саня старался не получать. Из семьи Лаженицыных не взяли никого: старший брат был уже в годах, уже сын его служил на действительной, у среднего брата не хватало пальцев, Исаакий – студент, а мачехины дети ещё малы.

И в сегодняшней полудневной езде по обширной степи тоже не послан был им никакой знак войны.

Переехав по мосту Куму, перевалив каменистым переездом через зноистое двухпутное полотно и уже едучи по травяной улице станицы Кумской, теперь Минеральных Вод, – и тут нигде не заметили они признаков войны. Так не хотелось жизни переворачиваться! Где только могла, она текла и таилась по-прежнему.

В тени большого вяза у колодца они остановились: Евстрашка должен был здесь обогнуть, остудить и напоить коней, потом подъехать к станции. Саня обмылся, обхлупался до пояса, два ведра извёл, ледяную на спину поливал ему Евстрашка тёмной жестяной кружкой, – тогда протёрся хорошенько, надел чистую белую рубашу с пояском, вещи покинул в таратайке и налегке, сторонясь от пыли, пошёл к станции.

Пристанционная площадь недавно была украшена посадкой сквера, но так и рылись куры по её окраинам да к длинному зданию станции подъезжавшие шарабаны и телеги взнимали воздушный наслой пыли.

Зато минераловодский перрон, во всю длину покрытый лёгким навесом на тонких крашенных столбиках, провеваемый, прохладный, манил за собою курортами и сегодня, как всегда. У столбиков навеса вился дикий виноград, всё было привычно-дачное, весёлое, никакой войны и здесь как будто не знал никто. Дамы в светлых платьях, мужчины в чесучёвом шли за носильщиками к платформе кисловодских поездов. Продавалось мороженое, нарзан, цветные летучие шары – и газеты. Саня купил одну, подумал – и вторую, разворачивал их уже на ходу, а потом на лавочке у дачного перрона. Вопреки обычной степенности он не дочитывал сообщений, перескакивал по столбцам – и просветлялся. Хорошо, хорошо. Наша крупная победа

под Гумбиненом! Противник будет вынужден очистить всю Пруссию... И в Австрии хорошо дела... И у сербов победа!..

По хуторской привычке бережа всякую вещь, вот и бумагу, он сложил газеты не заминая, не рвя, как если б думал нужны будут вечно, встал и пошёл в кассу, узнавать о поездах. Он ровно шёл сквозь пассажирскую сутолоку, не разглядывая людей, – и вдруг из этой пересечки вырвалась девушка, он и не обернулся, как летела она, может быть на поезд, – а она к нему! он тогда и понял, когда обвила его за шею руками, притянулась, поцеловала – а вот уже и откинулась, своей смелости удивляясь, раскрасневая, радостная:

– Саня!! Вы?? Ка-кое совпадение! А я всю дорогу из Петербурга почему-то...

Всего-то полсекунды обнимала, а всё настроение и мысли сшибла, сметнула, и он стоял растерянный, с тем летучим, что возникло в этот налётный миг, и ещё оставалось на нём, не только от губ, солнечно нагретых.

Варя. Старая знакомая гимназических лет, после Пятигорска и не виделись, сперва ещё писали иногда. Раньше – заглаженная узкая головка сироты, а теперь волосы стрижены, пышно набиты вширь, и какой-то взгляд победно-возбуждённый:

– Я почему-то так и думала: а вдруг – вас встречу? Понимала, что невозможно, а... Даже мысль была – дать вам телеграмму в станицу, только знала, что вы не любите.

Саня стоял, улыбаясь. Он сбит был – и как она изменилась от шестиклассницы, и неожиданностью, и какая, при чём тут телеграмма (разорвалась бы в доме как бомба), и ощущением нагретости её.

– А я вот четвёртые сутки всё еду! – радовалась она. – Умирает мой опекун, и надо поклониться. Не самое удобное время ехать, поезда полные... А вы?.. Тоже едете?.. Или встречаете кого?

Такая дурашливая мысль, пошутить: вас. И этот налёт её, и безо всяких усилий... Пошутить: а я по сну приехал, вы мне приснились; сразу: да не может быть? Она так и стояла, как будто всё ещё разогнанная, в наклон к нему.

Варя не бывала красива, и не похорошела за эти годы, оставался тот же твердоватый по-мужски подбородок и удлиненный нос, но вспыхнуло радостное напряжение встречи, от чего она опалена и просто хороша:

– А помните?.. А помните?.. Как мы с вами на бульваре тоже вот так встречались – неожиданно, без уговора? Судьба?.. Слушайте, Саня, куда вы сейчас? Ну, найдите время! Давайте побудем вместе. Давайте, я побуду в Минеральных?.. А хотите – поедете в Пятигорск?.. Как вы решите, так и будет, а?.. – Внезапные фразы бросала она, с неожиданным значением и выражением, как налетела и как стояла, не вполне ровно.

Заколебало, заклубило, замутило всё то высокое чистое настроение, с которым Саня сегодня прозрачным утром выехал и насматривался на снежно-синий скалистый Хребет. Как Хребет расплылся, так вдруг и всё дорогое настроение его. Вечное борение с искусствами, вся наша жизнь: мяса есть нельзя – а хочется, злого делать нельзя, доброе трудно... А в Минеральных Водах только пройдишь, тут увидят свои станичные, дома расскажут... А ехать в Пятигорск – и вовсе уклонение, вздор. Гостиницы, рестораны?.. Все копейки рассчитаны на билет.

Жалко было своё сегодняшнее особенное утро. Но, с удивлением к себе: уже и жалко было бы не встретить Варю. Так Саня ощущал, что, пожалуй, способен вдруг и поехать с ней.

А она сияла, остролицая, видя его уже согласным, но по разгону повторяла с резковатыми призывками:

– А – куда вы? Куда? Зачем?

И так сама напомнила. Навела.

Отвела.

Улыбаясь рассеянно и чтоб её не обидеть:



– Я... В Москву. – Он смотрел в сторону, вниз, как виноватый. – Сперва в Ростов заеду, там друг у меня, Константин, может быть знаете?

– Но ведь до занятий ещё три недели! – Рукой, до локтя открытой, взяла у локтя его, крепко, требовательно. – Или, думаете, вас...? – затревожилась, потянула сильнее, – с четвёртого курса? Ни за что! Зачем же вы едете?

Вот так просто ответить на ходу – было разменно, недостойно. Саня улыбался смущённо:

– Да понимаете... Н-не сидится... на хуторе...

Она вздрогнула откинутой головой, как лошадь, увидевшая круто вниз, и напряглась, уже за обе руки спасая его:

– Да вы... не... ли... до-бро-вольно?..

Правда, они встречались раньше, даже не уговариваясь. Со скрытой надеждой ученица городского училища выходила к вечеру на главный бульвар Пятигорска, и вот ей навстречу шёл уже знакомый, на три года старше, гимназист.

А встретясь, они рассуждали. Их встречи были серьёзные, умные разговоры, для Вари очень важные: Варя никогда никого не помнила старшего близкого. Даже когда темнело, наставницы и наставники увидеть их не могли, и Сане вполне было уместно взять Варю под руку, – он не брал. И она особенно уважала его за такую серьёзность. (Хотя, пусть бы меньше уважала.)

Позже, переведясь в гимназию, она стала встречать Саню и на ученических балах и других собраниях, но и там больше рассуждали, а не танцевали никогда. Саня говорил, что объятия вальса создают желания, ещё не подготовленные истинным развитием чувства, и граф Толстой полагает в этом дурное. Подчиняясь его мягким разъяснениям, уверилась и Варя, что танцевать не хочет.

И ещё потом сохранялась между ними переписка, очень разумные письма писал он. Хотя в Петербурге на курсах далеко расширился варин кругозор, и много умных людей знала она теперь, но и Саню вспоминала.

А когда три недели назад у себя на Васильевском Варя прочла наклеенный на тумбе царский манифест, потом трамваем переехала через Неву, а там, на Исаакиевской площади, патриоты громили германское посольство, били стёкла, выбрасывали в окна мебель, мрамор и проткнутые картины, свалили с кровли на тротуар огромных бронзовых коней, ведомых гигантами, и все люди вокруг возбуждённо радовались, будто пришла не война, но их долгожданное счастье, – в тот смутный миг, подле черно-коричневых колонн Исаакия, защемило у Вари: повидать бы теперь Саню. Да проезжая мимо Исаакиевского собора она и всегда его вспоминала: не любя своего имени, Саня отшучивался, что Пётр Великий ему тёзка: тоже на Исаакия родился, отчего и собор, только императору облагодзвучили имя, а степному мальчику нет.

Не предполагала Варя, внезапно вызвали ее в Пятигорск: тяжело заболел её опекун, не опекун, – жертвователь, на деньги которого она и многие другие сироты учились, и сочтено было, что она должна его навестить, хотя он и не помнил всех, на кого жертвовал, и не мог приезд какой-то незнакомой курсистки с остывшими благодарностями подбодрить его. И вот, через всю ширину Империи, томясь четыре дня в поездах, Варя почему-то придумывала и вызывала: «Саня, встреться! Саня, встреться!» – как когда-то, проходя всю длину пятигорского бульвара.

Не обязательно именно Саню, сколько мужских характеров этот Толстой перепортил. А просто ехала Варя от Исаакия – через Москву, через Харьков, через Минеральные Воды, всё санины места. Грянула война – ей стало одиноко, упущенно. Не была и прежде полна её жизнь, но ощущалась полнота общего озера. А теперь как будто разверзся донный провал, и туда с кручением и гулом стала навсегда уходить вода озера – и пока не всё пересохло, надо было спешить, спешить!

А ещё: разобраться, как это сразу всё закособочилось, куда поползло? Всего месяц назад, три недели назад, кажется никакой мыслящий русский гражданин не сомневался, что глава России – презренная личность, недостойная даже серьёзного упоминания, немыслимо было без насмешки повторить его слова. И вдруг в день-два всё изменилось. По виду образованные и неглупые люди, никем не понуждаемые, собирались, строгие, около тумб – и с этих тупых цилиндрических тумбенных туш им выглядело длинное титулование монарха совсем не смешным, и никем же не понуждаемые чтецы громко читали ясными голосами:

«Встаёт перед врагом вызванная на брань Россия, встаёт на ратный подвиг с железом в руках, с крестом на сердце... Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или суетной мирской славы подняли мы оружие, но ограждая достоинство и безопасность Богом хранимой нашей Империи, боремся за правое дело...»

Всею долгой дорогой наблюдала Варя сопутствия войны: военные погрузки, проводы. Особенно на полустанках лихо выглядело русское прощание: под балалайку выплясывали запасные на утолченных площадках, взметая пыль, и что-то развязно кричали, видно пьяные, а родные крестили их, плакали по ним. Когда ж мимо товарного поезда запасных пронёсся другой такой же поезд – взлетало братское «ура-а-а!» из двух поездов и растягивалось, безумное, отчаянное, бессмысленное, на длину двух составов.

И никто не демонстрировал против царя.

А Саня в белой чистой рубашке был особенно степной, загорелый, примятые волнистые пшеничные волосы, пропалённые солнцем на крестьянской работе. Едва увидела – и кинулась к нему, на свою загадку-угадку, но и – сбить одним движением эту прежнюю тягучую робость их встреч. Так поверилось, что сейчас они всё своё бросят – и куда-то, куда-то...

Саня был простак уже и до сложности.

Меж коротко подстриженными русыми усами и диковатой порослью ещё-не-бородки улыбался мягко, раздумчиво. И в глазах, как всегда, непрерывная внутренняя работа. А уже – и заглатывающее заострение – общее – увидела на нём. *Уходил?* – добровольно?..

– Саня! Не идите! – за плечи его. – Не уходите!

Тем же водоворотом, в тот же донный провал закручивало и его... От него же занятую когда-то рассудочную ясность она теперь порывалась ему вернуть, из водоворота выхватить его назад, как успеет. Она не готовилась, само натекало на язык... Десятилетия гражданственной литературы, идеалы интеллигенции, народолюбие студенчества – и всё отдать зашлёпать в один миг? Забыть этого... Лаврова, Михайловского?.. Хор-рошенькое дело! – так поддаться тёмному патриотическому чувству! изменить всем принципам! Ладно, он не был революционером, но пацифистом-то был всегда!

Со стороны показалось бы, что это она воинственно настроена, а он мягко отговаривает её от войны. Варя разгорячилась, и улыбка её стала резкой. Приподнялась и в отчаянии сбилась её шляпка – дешёвая и беззатейная, не для привлекательности выбранная, а защищать от солнца только.

Не находясь возражать, не защищаясь, Саня кивал. Грустно:

– Россию... жалко...

Урчала, гудела, уходила вода из озера!

– Кого? – Россию? – ужалилась Варя. – Кого Россию? Дурака императора? Лабазников-черносотенцев? Попов долгорясых?

Саня не отвечал, ему нечего было. Слушал. Но под хлёстом упрёков несколько не ожесточался. Он на каждом собеседнике себя проверял, всегда так.

– Да разве у вас характер – для войны? – подхватывала Варя всё, что только можно было, что под рукой.

В первый раз она чувствовала себя умней его, зрелей его, критичней, – но от этого только холод утраты сжимал её.

– А Толстой! – нашла она ещё, последнее. – Что сказал бы Лев Толстой – вы подумали? Где же ваши принципы? Где же ваша последовательность?

На загорелом санином лице под пшеничными бровями, над пшеничными усами голубели ясные, печальные, в себе не уверенные глаза.

Плечи чуть подняв, чуть опустив:

– Россию жалко...

#### **ДОКУМЕНТЫ – 1**

**23 июля**

#### **ПОСОЛ ФРАНЦИИ ПАЛЕОЛОГ – ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ**

**П**

**...Французская армия должна будет вынести ужасный удар 25 немецких корпусов. Умоляю Ваше Величество отдать приказ своим войскам немедленно начать наступление. В противном случае французская армия рискует быть раздавленной.**

#### **ДОКУМЕНТЫ – 2**

**31 июля**

**Запись маршала Жоффра**

**...Предвосхищая все наши ожидания, Россия начала борьбу одновременно с нами. За этот акт лояльного сотрудничества, которое особенно достойно, поскольку русские ещё далеко не закончили сосредоточение своих сил, армия Царя и великий князь Николай заслужили признательность Франции.**

#### **ДОКУМЕНТЫ – 3**

**1 августа**

#### **НИКОЛАЙ II – МИНИСТРУ САЗОНОВУ**

**...Я приказал великому князю Николаю Николаевичу возможно скорее и во что бы то ни стало открыть путь на Берлин. Мы должны добиваться уничтожения германской армии.**

## **2**

***Неготовность души к войне. – Занывание. – Саня в поезде ночью. – История семьи Лаженицыных. – Степной восход. – Посещение Льва Толстого. – Запутался в изобилии истин. – Прощанье со степью. – Вид на кубанскую экономию.***

Это не ново было для Сани, что он запутывался в противоречиях, что его взгляды не сходятся с чувствами. Но если в противодействии мясу или танцам можно было всякий раз и от месяца к месяцу упражнять свою выдержку, то войны никто никогда и не предлагал, не хвалил, не манил ею, она казалась вовсе исключена в цивилизованный развитой век, – так некогда было к ней и подготовиться. Было усвоенное представление: война – грех. Без единой проверки легко было так считать. Но вот разразилась первая – и в раздольной безтревожной степи, под небом безтучным – засосало. И беззащитно почувствовал Саня, что эту войну ему не отвергнуть, не только придётся идти на неё, но подло было бы её пропустить – и даже надо

поспешить добровольно. В станице не оспаривали и не обмысливали войну как событие, которое будто бы в наших руках, могло бы быть или не быть допущено. Войну и вызовы воинского начальника там все принимали как волю Бога, как снежный буран, как пыльную бурю. Но и добровольного ухода тоже взять в толк не могли бы. И в сегодняшней долгой дороге, поколачиваемый таратайкой и пожигаемый солнцем, Саня решился ещё неясно, неокончательно. Ещё предстояло ему в Ростове совещаться с другом своим, Котей. Измена Толстому была уж и совсем определённая. Но услышав Варю и приняв на себя взмёт возможных демократических и революционных аргументов, Саня не обнаружил среди них решающего: через тёмную бездну, зинувшую перед Россией, не бросали они никакого моста.

И он расстался с Варей более убеждённый идти добровольцем, чем до неё.

Другое: с Варей самой. Он ведь еле удержался. Она так звала, и так томительно ему, – поехал бы! По-крестьянски: ломай солому пока трещит, а девку пока верещит. Но уже в боях умирали люди. Нечестно. Поехал бы – и смял бы, сбил всё настроенье своё и, может, даже, в станицу бы вернулся.

Это всё он перебирал полночи уже в бакинском почтовом, на боковой верхней полке, только-только помещаясь в длину от макушки до подошв. Из Минеральных выехали вечером, от военного времени было переполнение: в третьем классе редкая полка пустовала.

Расстался с ней – тут и потянуло: ах, зря! Хоть вдогонку езжай. Теперь-то именно, идя на войну, как же было пренебречь?

Так заныло, лучше б не встречал. Так заныло, хоть в Харьков заезжай, к черноволосой Леночке с гитарой и романсами. А какая ж разница – Пятигорск или Харьков? Если б он поехал с ней – ничего б не стоило и всё его решение, и движение.

Хотелось, мечталось Сане дожить – полюбить по-настоящему. Душой полюбить. И на всю жизнь.

Но теперь пока расстилась – война.

В вагоне было душно, у Сани правая сторона по ходу, и имел он право оттянуть свою раму вниз, так открыл себе продох, а решётку складную опустил, чтоб не вывалиться. На частых остановках ходили по вагону, цепляли за простеленную санину студенческую тужурку, разговаривали за окном на платформе, – Саня просыпался, и сразу подступало всё то же ощущение беды, не собственной своей, но от этого не меньшей. Поглядывая на стеариновую свечу в стеклянном простенке, освещавшую четыре купе сразу, Саня по отгару её соображал, сколько времени прошло. На ходу пламя свечи подрагивало, и колебались густые тени под полками.

А то слышал он название станции или высматривал её через щель решётки: он каждую тут станцию знал в лицо и мог наизусть их перечислять с полустанками от Прохладной до Ростова и наоборот.

Он любил эти все станции, и весь край здесь был его родной, в Нагутской жила одна замужняя сестра, в Курсавке другая. Но за последние годы его привязанность раздвоилась, с тех пор как Саня узнал и коренную, лесную, настоящую Россию – ту, что начинается только от Воронежа.

Из-под Воронежа откуда-то и вышли Лаженицыны. И в свой холостой год между гимназией и университетом Саня выпросился у отца съездить посмотреть места их предков (а на самом деле ещё и ко Льву Толстому метил попасть).

Дед Ефим, когда жив был, рассказывал, что на его пращура Филиппа напустился царь Пётр – как смел поселиться инде без спросу, и выселил, и слободу их Бобровскую сжёг, так осерчал. А дедова отца сослали из Воронежской губернии сюда за бунт, несколько их было, тех мужиков, однако тут кандалов не надели, и не в солдатское поселение, и не под крепость, а распустили по дикой закумской степи, при казачьей Старой линии, и так они жили тут, никто никому, не жались по безземелью, на полосы степь не делили, где пахали-сеяли, а где гоняли на тачанках да стригли овец. Окоренились.

Через просветы между планками решётки всё было черно за вагоном. Но потом стало осветляться небо, и ещё светлеть, вот уже пересиливало свечу, и проводник пришёл погасить её. Белое небо взялось розовым, Саня покинул попытки спать, поднял решётку к потолку, избочась надел тужурку и в обдуве холодного встречного воздуха стал ждать восхода. Розовое распахивалось просторным шатром, особенно ярко находя по небу и выхватывая мелкие облачка, а в исходе своём всё накалялось – алым, багряным, и уже неудержимое выперло, расплавилось красным солнцем. И так, у мира всего на виду, всю красную щедрую мощь погнало, полило багрецом по степной шире, не жалея нисколько, до крайней западной дали не обойдя ни местечка.

В *той* России – много красот умеренных, разделённых, обставленных лесами и взгорками, а вот таких разгарчивых, разлиivistых восходов на всю вселенную – не бывает.

Тоже вот таким ранним погожим утром, когда солнце едва взошло, ещё до шести утра, и тоже из первых дней августа, пять лет назад, Саня вышел со станции Козлова Засека – идти к Толстому. Было сочнее и свежее, чем может быть на Кубани летом. Спрося на станции, Саня спустился в овражек, поднялся по кособогу и попал в такой лес – просторный, ядрёный, широкоствольный, парадный, парковый, какого, живя на юге, не мог бы вообразить, да и на картинках никогда не видел. В росе молочной, а потом радужной, лес этот звал не пройти себя, а бродить, сидеть, лежать, остаться тут, никогда из него не выбраться, – а ещё особенным казался оттого, что дух пророка носился здесь: ведь Толстой же ходил или ездил на станцию, он здесь не мог не бывать, этот лес был уже началом его поместья!

Но нет, лес поднялся к орловскому большаку – и оборвался. Саня понял свою ошибку: только перевалив через большак, он спустился к яснополянскому парку. И пошёл вдоль него. Парк отделялся от дороги канавкою и тесной зарослью. Дальше, за огибом, виднелись белые каменные входные столбы.

Тут Саню взяла робость. Он не нашёл сил идти через парадные ворота, по парадной аллее, отвечать на вопросы встречных. Да его могли и не пустить к Великому, скорее всего. И легче оказалось перепрыгнуть через канавку, продрасться сквозь заросль – и просто, без цели, походить тем парком, где, уж без ошибки, хаживает Толстой, и присесть, где сживает он.

Тут были петлистые аллейки, небольшой прудок, ещё один, и мостики через застоялую воду, покрытую ряской, и беседка. А дома и людей – не было видно. И в раннем солнечном переблеске, в мелкой солнечной пестряди бродя, бродя, садясь и глядя, Саня, кажется, и насытился. Он, кажется, уже мог возвращаться на юг и считать, что побывал у Толстого.

Но ещё поднялся по берёзовой аллее – длинной, прямой и узкой, как коридор. Берёзы сменились клёнами, потом липами. Тут открылась не поляна, но разрежение парка, окружённое липовым прямоугольником, ещё разбитое вдоль, поперёк и диагонально дорожками. И – кто-то мелькал по этим аллеям, шёл довольно бодро. Саня спрятался за толстую липу, выглядывал. И увидел – Седоволосого, Седобородого! в длинной рубаше с пояском. Ниже ростом, чем ожидал, но так похожего на свои изображения, что хотелось головой тряхнуть, от миража.

Толстой шёл с палкой, смотрел в землю. Один раз упнулся палкой, остановился и едва ли не минуту неподвижно смотрел в одно и то же место, в землю. Опять пошёл. Он попадал головой то в густую утреннюю тень, то под солнечный свет – и тогда голова его, в объёме парусинового картуза, вспыхивала как нимбом. Так он прошёл все четыре стороны прямоугольника и опять повторял их, на одном углу совсем рядом с Саней.

Саня упивался. Он мог бы и час вот так простоять, налегши грудью на липу, обнимая пальцами её дорожчатую кору, а голову выставив из-за ствола. И он не хотел помешать утреннему размышлению Пророка. Но испугался: а вдруг Толстой следующий раз уже не завернёт сюда, уйдёт к дому; или кто-нибудь появится и заговорит с ним.

И с колотящейся смелостью Саня вышагнул на дорожку – издали, чтобы Толстой не испугался внезапности, снял гимназическую фуражку (он тот год носил её, пока отец не отпустил в студенты) – и стоял прямо, немо.

Толстой увидел. Подходя ближе, поглядел на опущенную фуражку, на вольную косоворотку. Приостановился. Заботы и заботы были на его лице, лоб не расправлен. Но и ему же досталось первому поздороваться с немым обожателем:

– Здравствуйте, гимназист.

Кто же к кому пришёл? Кто кого искал? Как будто самого Саваофа слыша, спекшимся горлом Саня слабо ответил:

– Здравствуйте, Лев Николаевич!

И не находился, дальше что. Сам Толстой должен был отвлечься от своего, сосредоточиться на новом. Перевидел он, конечно, этих посетителей, и этих гимназистов, заранее знал, что они могут спросить и что им нужно ответить, всё это они могли прочесть в его книгах, но почему-то хотели не прочесть, а непременно слышать из уст.

– Откуда же вы, гимназист? – вежливо спрашивал великий старик, не проходя дальше.

– Из Ставропольской губернии, Александровского уезда, – теперь уже слышным, но хриплым голосом сказал Саня. И очнувшись, прокашлялся, поспешил: – Лев Николаевич! Я знаю: я нарушаю ваши мысли, вашу прогулку, простите! Но я так долго ехал, мне только услышать от вас несколько слов. Скажите, вот правильно я понимаю? – какая жизненная цель человека на земле?

Но – не сказал, как же он понимает, а ждал. Губы Толстого, не вовсе утонувшие в бороде, безуспешно сдвинулись в произнесенное тысячу раз:

– Служить добру. И через это создавать Царство Божие на земле.

– Так, я понимаю! – волновался Саня. – Но скажите – служить *чем*? Любовью? Непременно – любовью?

– Конечно. Только любовью.

– Только? – Вот за этим Саня и ехал. Теперь свободней ему стало, и говорил он плавней, ближе к своей негорячей манере. Он задавал по виду вопрос, но в этом вопросе уже свой собственный ответ отчасти содержался, и, по свойству юности, он хотел даже великому собеседнику выявить таким образом своё не совсем пустое мнение: – Лев Николаевич, а вы уверены, что вы не преувеличиваете силу любви, заложенную в человеке? Или, во всяком случае, оставшуюся в современном человеке? А что, если любовь не так сильна, не так обязательна во всех, и не возьмёт верха – ведь тогда ваше учение окажется... без... – не мог договорить. – ...Очень-очень преждевременным? А не надо ли было бы предусмотреть какую-то промежуточную ступень, с каким-то меньшим требованием – и сперва на нём пробудить людей ко всеобщему благожелательству? А потом уже – на любви?.. – И пока Толстой не ответил, в этот последний миг: – Потому что, как я наблюдаю, вот на нашем юге, – всеобщего взаимного благожелательства *нет*, Лев Николаич, *нет*!

Ещё свои заботы не ушли с борождённого стариковского лба, а тут гимназист задавал малооблегчающий вопрос. Из-под бровей мохнатых твердо посмотрев, безколебно ответил старец, всей жизнью выношенное:

– Только любовью! Только. Никто не придумает ничего верней.

И – кажется, не хотел больше говорить. Как будто затмился или обиделся за свою истину. Он хотел дальше идти по прямоугольнику и думать своё.

Болезнью, что огорчил обожаемого человека, отдавая уже свой любимый вопрос, умягчая, но и ещё одну кроху выгадывая, Саня опять заторопился:

– Что до меня – я так и хочу, через любовь! Я так – и буду. Я так и постараюсь жить – для добра. Но вот ещё, Лев Николаич! Само-то *добро*! Как его понять? Вы пишете, что разумное и нравственное всегда совпадают...

Приостановился пророк, мол – да. И остриём палки чуть посверливал в твёрдой земле.

– Вы пишете, что добро и разум – это одно, или от одного? А зло – не от злой натуры, не от природы такие люди, а только от незнания? Но, Лев Николаич, – духа лишился Саня от своей дерзости, но и своими же глазами он кое-что повидал, – никак! Вот уж никак! Зло – и не хочет истины знать. И клыками её рвёт! Большинство злых людей как раз лучше всех и понимают. А – делают. И – что же с ними?..

Даже пальцами губы свои прикрыл, чтобы больше не говорить, чтоб самому-то услышать!

Вздыхнул старик глубоко:

– Значит – плохо, недоступно, неумело объясняют. Терпеливо надо объяснять. И – поймут. Все рождены – с разумом.

И, расстроенный, пошагал с палочкой.

А Саня – стоял. И когда Толстой с дорожки за дом ушёл. И ещё потом стоял.

Так он надеялся в три минуты от Самого узнать и понять! Не понял.

Уж он не решился, не успел проверить у своего кумира о стихах: всё-таки – можно? хоть для себя, потихоньку? Или – решительно противоречит?.. Тайно всё равно влекло его слагать строки и рифмы. И в альбомы девицам, шутки ради, он записывал иногда. Однако и ограничив себя в стихах, тем не сберёг заметно времени и не открыл кратчайшего пути: как же служить Царству Божьему на земле?

Никогда не знал Саня уверенности в себе, каждый год вышибало что-нибудь из-под ног. Не раз отчаивался он преодолеть отцовскую волю, затягивал его жребий степного неуча. В сельской работе провёл он тот год, после поездки к Толстому, лишь немного читая, что попадалось, больше всё Толстого же. Наконец отпущен был в Харьков, но начав курс историко-филологического факультета, ощутил свою дремучесть, своё степное невежество среди городских студентов. А в Харькове год поучась и найдя в себе дерзость после первого курса перешагнуть в Московский университет (и Котю с собой увлёл), он ещё долго ощущал себя отставшим, недоразвитым, не домысливающим до ядра каждого вопроса. Он запутался в изобилии истин, он измучился от убедительности каждой из них. Пока было мало книг в руках, Исаакий твёрдо и хорошо себя чувствовал, с седьмого класса он считал себя толстовцем. Но вот дали ему Лаврова с Михайловским – как будто правильно, очень верно! Плеханова дали – опять-таки верно, да гладко, да кругло как! Кропоткин – тоже к сердцу, верно. А распахнул «Вехи» – и задрожал: всё напротив читанному прежде, но – верно! пронзительно верно!

И стал брать его от книг – страх, не прежняя почтительная радость: что никак он не научится автору противостоять, что увлекает и подчиняет его каждая последняя читанная книга. И только-только стал он сметь не соглашаться с книгами – как вот теперь война, и уже не научиться, не нагнать.

Поезд подходил к Армавиру. В полуспящем вагоне Саня окончательно спрыгнул с полки, успел умыться, пока не заперли умывальника. Тут стоянка двадцать минут, меняют паровоз. На раннем чистом перроне было мирно, безлюдно, опять ничто не говорило о войне. В буфете с горячим крепким сладким чаем позавтракал Саня своими станичными запасами из мешочка, другого не брал.

Тронулись. Он остался в тамбуре. Теперь по солнечной стороне поезда несло паровозную сажу, но Саня открыл другую дверь и высовывался туда, нависая. Никогда не надоедало это кружение огромных цветных площадей уродившей земли. От каждого вагона сюда тряслась по полю продолговатая чёрная тень, ныряя в балочки, а остальная степь была вся освещена с раннеутренней, уже не розовой, ещё не жёлтой нежностью.

И хотя силы молодые радостно наполнили тело и обещали жизнь, жизнь, – может быть, эту степь и утреннее солнце над хлебным морем он не увидит больше никогда.

Проехали станцию Кубанскую. Саня и после неё не шёл в вагон, а всё так же стоял у открытой двери, обдуваемый ветром хода, – и смотрел, смотрел, примеряясь к прощанию.

Вот отдельно показалось имение или «экономия», как говорят на Северном Кавказе. Среди степи здесь было густо, ровно насажено, и высоко уже раскинулось. Ехали груженные возы. Быки тянули локомобиль и молотилку. Кружились постройки жилые, хозяйственные. А вот в разрыве тополевой просадки, сопровождающей поезд, показался верхний этаж кирпичного дома с жалюзными ставнями на окнах, а на угловом резном балконе – явная фигурка женщины в белом, – в безопасном белом, нетрудовом.

Наверно, молодой. Наверно, прелестной.

И закрылось опять тополями. И не увидеть её никогда.

### 3

#### *Ирина в ссоре с мужем. – Утверждаться на том, что есть. – Завтрак со свекровью. – Из быта семьи. – Дом и парк.*

Ещё при первом разрыве сна, ещё прежде чем вспомнить, как ты молода, и какой летний день, и как можно счастливо жить, – тупым холодным вступает: ссора! С мужем в ссоре опять, со вчерашнего дня.

Глаза открыла: не в спальне. Одна.

Распахнула ставни в парк – а утро какое! а воздух с тeneвым холодком! Гималайские серебристые ели держат ветви у подоконников второго этажа.

Какого счастья?.. Весь этот парк по её хотению вырос в голой степи. И любой предмет мира, и любой наряд из Петербурга, из Парижа сейчас же может быть заказан, доставлен.

Последняя крупная ссора длилась у них три дня, – три дня молчания, незамечания, всё врозь. Тут выдался день Преображения, и со свекровью Ирина ездила в церковь, в Армавир. Взмывающее пение литургии, добросердечная проповедь священника, и потом по кольцу церковного двора радостное освящение всецветных яблок, сложенных холмиками, и мёда в ведёрках и глечиках, при разгоревшемся солнце сверкание облачений, хоругвей, начищенных кадил и относимый ладанный дым – всё вместе так небесно настроило, а мужнины обиды показались так мелки и ничтожны перед Божьим миром, Божьим замыслом, тут ещё и войной, – что решила Ирина не только просить прощения в этот раз, хотя несколько не была виновата, но и впредь никогда не допустить ни одной больше ссоры, а чуть поссорясь – тут же виниться первой, ибо только в этом христианство. И вернувшись от преображенской обедни, Ирина просила у мужа прощения, Ромаша очень обрадовался, этого он и ждал, тут же простил жену и даже сам великодушно просил встречного прощения.

Но лишь со среды до воскресенья они прожили в ладу. И снова поссорились так обидно, что разговаривать нельзя.

В коридоре горничная шёпотом спросила у Ирины Ивановны распоряжений. Пока нет. Ирина перешла в ванную, красно-белого мрамора.

Потом молилась, перед Богородицей. Однако не было очищения.

И за туалетом, у трельяжа, не облегчил вид своей естественно-розоватой кожи, округлых плеч, волос до бёдер (четыре ведра дождевой на мытьё).

Перешла на солнечную сторону, на балкон-веранду, сощурилась на поезд, вероятно бакинский почтовый. Вид на поезд в двухстах саженях от дома Томчаков был самый живой. Никогда не надоедает глазами встретить и проводить, что-нибудь загадать, посчитав вагоны: чёт ли, нечет.

У многих, ехавших сейчас, назначение сливалось: война, на войну, для войны.

Из-за того вчера и загорелась ссора: Ирина слишком выразительно сказала, как трудно сейчас России и как должны сыны её... Не о муже, она не думала, что так получится! Она



говорила вообще о тевтонской угрозе... А Ромаша принял на свой счёт, уязвился, обзывал, что она туполобая патриотка, дремучая монархистка, и от подобного же отца-невежды, самодура, что она не способна уразуметь, как мало в нашей дикой стране таких светлых, предприимчивых голов, как у её мужа. И последняя потаскуха пожалеет толкать мужа на войну, а она...

Вот такие ссоры у них и бывали, скорей как между мужчинами: то из-за Государя, над которым всегда смеялся Роман; то из-за веры, которой у него нисколько не осталось, лишь скрывал для приличия.

Но ещё б не так обидно, если бы Роман не вмешал иринино покоего отца. Невежда? Да, с батраков начинал, сын николаевского солдата. Самодур? – а кому представлялся Роман и старался понравиться, ведь не дочери? И был выделен из женихов: «У этого деньги из рук не вырвутся».

Отец долго оставался бездетен. Уже стариком заплатил сорок тысяч ставропольскому архиерею, чтобы пережениться. От той любви и родилась Орина, Оря! – только так её звал. А в семнадцать ориных лет подходил уже к смерти и спешил при своих глазах выдать замуж её, сразу из пансиона. Теперь-то видно: рано. Теперь-то жаль. Мог бы дать ей ещё поразвиться. Порезвиться. Мог бы позволить ей и выбрать самой.

Однако свершилось. И не смела Оря не только отца покойного упрекать, но не смела ни думать, ни сожалеть о всяком другом жребии. О том, что не состоялось, сожалеют лишь неверующие души. Душа же верующая утверждает на том, что есть, на том растёт – и в этом её сила.

Свершилось – и Оря покорно признала невыбранного мужа. Весь наследный капитал отдала ему без дележа, без оговорочной записи. Вся сегодняшняя независимость, невылазное богатство, досужность, свободные вояжи по столицам и заграницам – всё досталось Роману от ориного отца, не от своего, – так можно б его поминать хоть не руганью?..

Пора было спускаться к завтраку. Вела вниз внутренняя деревянная лестница. Над её верхним маршем лелеялся царскосельский вид, над нижним – пахал Толстой. (Изобразил их выписанный из Ростова художник-итальянец.)

Столовая была расписана под орех, и ореховый же буфет огромный, а кожа мебели – лягушино-замшелого цвета. Лимонные деревья в кадках заслоняли окна в парк. На серединном просторе, где раскладывался на двадцать четыре персоны, стол был сложен на двенадцать. А прибора накрыто – только два, через уголок: золовка Ксенья спала, Роман и никогда к раннему завтраку не ожидался, а свёкор спозаранку частенько уганивал в степь на линейке по двум тысячам десятин. Сегодня же был он в отъезде, уже третий день в Екатеринодаре, решалась судьба Ромаши, все об этой поездке думали, никто вслух не говорил.

Желая доброго утра, Ирина нагнулась и поцеловала свекровь в полную широкую щёку. Избыточная полнота и устоявшийся покой – вот было лицо Евдокии Григорьевны после пятидесяти лет. Как будто не пробирали её сегодняшние заботы, как будто не знала она горя в прошлом – так было всё утоплено, расплыто и примирено в этом лице. А между тем была в её жизни неделя, когда она потеряла от scarлатины сразу шестерых детей – только Ксенью, самую маленькую, выхватили, как из пожара, да Роман со старшей сестрой были уже взрослые. Порой негодуя на свекровь, Ирина напоминала себе эту неделю.

Она перекрестилась на икону Тайной Вечери (по содержанию повесили её в столовой), села. Шёл Успенский пост, на столе не было ни мясного, ни молочного, и кофе без сливок подавала буфетная девка, сам лакей к раннему завтраку тоже не выходил.

Евдокия Григорьевна, дочь простого станичного коваля (одень её плоше – и сегодня та ж, бабка из деревни), не могла и за много лет привыкнуть – сидеть за столом барыней в кружевной шали, а всё нужное подадут. Она рада была заметить упущенное и сама поднести, а в иные дни, отстранив поварих, сготовить в ведёрной кастрюле малороссийский борщ. Уж дети, стыдась

прислуги, останавливали её, а перед гостями заставляли убрать постоянную вязку на спицах и клубок шерсти от ног.

В прачечной тщила свекровь проверять расход мыла и древесного угля, распоряжалась не принимать в стирку тонкого белья невестки («зачем дорогое надевать? кто его видит?»), себе со стариком и всем, кому в доме могла, велела носить грубое, шитое прихожими монашками. Ведь с этим самым мужем они были когда-то в саманной хатёнке при десятке овец – и до старости не могла Евдокия Григорьевна поверить в прочность мужниного богатства. Она не могла точно уследить, где утекает, утекало везде, от богатства их через крайнего люди заимствовали, брали, воровали, было десять человек домовой обслуги да десять дворовой, это без казаков, а сколько служащих, рабочих – конторщики, приказчики, объездчики, кладовщики, конюхи, воловики, машинисты, садовники, – кто мог за ними уследить? И надо ли было, где пьётся, там и льётся? Это хорошо понимал свёкор Захар Фёдорович, это было в его развороте: «Так и жить, шоб людям жить давать. У мэнэ рука крыляста, там находэ, дэ самы нэ найдут». Но Евдокия Григорьевна, смиряясь с неотвратимым течением обильного хозяйства экономии, в меру своих сил проверяла у годовой портнихи нитки и обрезки. Захар Фёдорович легко мог подарить прохожему босяку свой старый костюм, – Евдокия Григорьевна, узнав, слала за босяком гонца отбирать костюм. Напротив, через её сестру Архелаю, монахиню, прознали их дом, и тянулись сюда монашки, и монахи, и странники, и для них ничего не жалели, в самые раскоромные дни задавалась прислуге двойная работа: готовить ещё отдельно постное на чёрную ораву. И в Тебердинский монастырь бычьими платформами отправлял продукты Захар Фёдорович. А Ирина, наоборот, убеждала свёкра, что монашки – хитрые, работать не хотят, что угодней будет Богу повернуть эти продукты на рабочих и в летнее время кормить их мясом трижды в день. Так и сделали.

С той же неотвычной простотой свекровь и сейчас спросила:

– С Ромашей ночью – опять поврозь?

Ирина опустила прямоносимую голову. Покраснела не от грубой простоты вопроса, но от восьмилетней безнадёжности родить, томившей саму её: могла быть и груба свекровь, имел право и раздражаться муж.

Простецкая голова свекрови над разнесенными плечами и грудью выражала, в меру её постоянной ровноты, – изумление:

– Чтоб жена – и сама отдельно? Не слыхано... Если б тебя он прогнал – я б тебе ничего не сказала.

Это она не только о сыне – она всякого мужчину всегда оправдывала рядом со всякой женщиной.

– А так мы никогда и не дождёмся...

Огромные пристенные стоячие куранты пробили и заиграли «Коль славен наш Господь». (Купили их в аукционе, казна продавала вымороченное имущество пресекшегося рода рюриковичей.)

– Гордость надо нагибать, Ируша...

Ах, нагибала, нагибала, – да что ведала свекровь о гордости? Свёкор мог, осердясь, бранить её за столом, как хотел, – и Евдокия Григорьевна всё покорно сносила. Это Ирина однажды вскочила: «Ромаша! Уедем! Не будем здесь жить!» – и свёкор, вилку швырнув на пол, сам поднялся, ушёл. Верно, при жениной покорности мужа остывают сразу, и ссоры как не бывало: «Старушечка моя!» – тут же вскоре умилялся и приласкивал её Захар Фёдорович.

Ирина сама молилась о кротости и смирении, но когда кротость вкладывала в неё свекровь – упруго ответно поднималось в ней тёмное:

– Зачем вы так баловали? зачем вы так кохали вашего сына? А мне с ним – жить.

– А чем он плохой вырос?

Так простодушно удивилась, с глазами такими незамутнёнными, что не было духа напомнить ей ну хоть эту сцену перед *кабинетом*, при всех служащих, и началось из-за какой-то клетки, чем её засеять: «Сукин ты сын!!» – кричал и топотал Захар Фёдорович, побагровев глазами. «Ты – сам!!» – кричал ему Роман Захарович. Отец тяжёлым ореховым посохом с размаху ударил сына, а сын, в той же первобытной ярости, выхватил из английского кармана револьвер. Ирина повисла на муже: «Мама! Заприте дверь!», только так разделили их. Роман надулся, уехал. Растревожённые родители тут же стали слать ему телеграммы – сыночек, вернись, приезжай!

Сын с отцом и сегодня были в ссоре. Это состоянье их было чаще лада.

Кончился завтрак. Ирина встала, пошла – в полотняном, вся ровная, статная, в пансионе отработанной походкой. Пошла золотистым ковром, не снимаемым на лето, мимо выставки хрусталя – опять на лестницу, и по оставшимся вниз ступенькам, мимо ещё одного Льва Толстого, на этот раз с косой, вышла парадным подъездом.

Всех этих Толстых настоял изобразить Роман. Старому Томчаку объяснил он, что у людей образованных так, что великий человек России и граф. Сам же для себя почитал и выдвигал Толстого за отвержение исповеди и причастия, которые Роман ненавидел.

Со всеми службами и огородами занимала придомная усадьба двадцать десятин – было куда пойти: в прачечную; в погреба – осмотреть с экономкой запасы; по казармам обойти жён рабочих-срочников; или, пожалуй, в оранжереи.

Но куда ни иди, надо решать: мириться или нет? смириться или нет?..

Ирина пошла через парк, заставляя себя не обернуться, не поднять головы на веранду их спальни, откуда наверно высматривал *он*. Выражая обиду, он способен затаиваться там на день и на сутки, как в тюрьме, не выходя ни по двору, ни по дому.

Прошла под гималайскими елями. Сколько с ними было тревог, что не привыются: из великокняжеского крымского сада их везли уже большими, с комами земли в корзинах, и на каждой промечено было, какой стороной сажать на восток.

Дальше вились сиреневая, каштановая, ореховая аллеи.

«Шоб грёби зароблять – нужен рбзум», – говаривал Захар Фёдорович. Но не меньший рзум да ещё и вкус нужен был, чтоб те деньги тратить. Несчитано денег было и у Мордоренок, да как они их тратили? Долго жили по-чумазому, Яков Фомич вставил для красоты полон рот платиновых зубов, сыновья ж его, жеребцы, играли в орла-решку золотыми вместо медяков. Когда Томчак вместе с Чепурныхом покупали в Петербурге у братьев-графов Граббе шесть тысяч десятин кубанской земли – размахнулся Захар Томчак: «Угостим графьёв? Да нэ як вони угощают, дрэбэдэнькой», – но чем же именно угощать, так и не мог придумать в ресторане Палкина, а велел нести побольше да подороже.

Как обставлять жизнь – Захар Фёдорович учился у сына и невестки. Со стороны железной дороги насадили тополей, бальзамических и пирамидальных, аллеями шириной на две встречных тройки. Бальзамические тополя после солнечных дней благоухали к вечеру, и диковатый степной помещик признал: «Гáрно, Ируша, гарно!» Парадный двор обсадили платанами. Придумала Ируша и выкопать близ дома пруд – с цементным ложем, купальней и сменяемой водопроводной водой, а вынутую землю перевозить и складывать в холмик, на нём же поставить беседку. Так составлялось то, что есть парк, отличающий старинные усадьбы, и чего не бывает в экономах: самостоятельность пейзажа, отъединённость от окружающей местности, непохожесть на неё. Кругом может быть степь, лес или болото, здесь по своим отдельным законам – парк, другая страна. За парком посадили сад, перевезли со старого места, с Карамыка, из-под Святого Креста, сотни две фруктовых деревьев, – принялись. За садом – виноградник. Вкруг беседки распорядилась Ирина засеять мавританский газон, а на парадном дворе – изумрудный английский райграс, подстригаемый газонокосилками.

Но особую заботу Ирины составили две оранжереи: маленькая, для весенних цветов, подаваемых уже к раннепасхальному столу; и высокая, где зимовали в кадках олеандры, пальмы, юкки, араукарии и сотни горшков с мелкими цветами, которые назвать по именам мог кроме Ирины только оранжерейный садовник, отдельный от общего садовника. Всех этих нежных жителей надо было пересматривать почти каждый день, кому-то помогать, летом – выносить и вносить, зимой кого-то цветущего нести в зимний сад, кого-то завядшего – назад в оранжерею.

В разнообразии запахов, окрасок и контуров, в нежности и росте цветов Ирина становилась увереннее, защищённее от мужниных обид.

Была такая фантастическая мысль у неё, что Роман, проснувшись, станет её всё-таки искать. Это невозможно было в обычное время, но когда война, не исключено расстаться, – может быть, его проберёт? Она хотела этого прихода не для того, чтоб одержать верх, но для него же больше, для его сердца.

#### 4

***Пробуждение Ксеньи. – Брат у сейфа. – Где Ксенья учиться. –  
Танец. – В гамаке. С Ириной. – О нравах экономистов. –  
Смешное или неподдельное? – Письмо от Ярика Харитонова.***

Нет, нигде так хорошо не бывает, как дома! – и постели такой приятной, и такой голубенькой комнаты, сейчас ещё тёмной, а лучики быют в жалюзи. И такой обезпеченной возможности поленился – день, неделю, хоть месяц!

От долгого хорошего сна к долгой хорошей жизни со сладкой-сладкой-сладкой зевотой, потяжкой, перетяжкой, Ксенья сжала руки в кулачки над головой.

Правда, эта жизнь осудительная, в ней опускаешься, о ней не будешь подробно хвалиться подругам, тут многое плохо и дико, – а всё равно хорошо! Что-то есть такое хорошее, что только тут, только ты и твои семейные понимают – а подруги и не могут понять. Московские радости, конечно, несравненны: танцевальные занятия, театры, диспуты, публичные лекции, да, ещё ж и курсы! – всё головокружительно, а тут с утра проснёшься – лежи, сколько хочешь. Побарствовать всё-таки очень приятно.

За дверью кашлянули, постучали.

– Ксенья, ты не спишь?

– Ещё не решила, а что?

– Да мне в кассу надо, на минуту. Ну, если хочешь спать... я могу потом...

Тут-то и приятно полежать, едва проснясь... Но когда тебя ждут – всё уже отравлено.

– Ладно! – крикнула Ксенья и вскочила в постели без рук, одним качком сильных ног. Путаясь в длинной сорочке и босиком по ковру добежала до двери, сбросила крючок. – Подожди, не входи! – и опять в постель нырь, зашуршала сеткой, натянула одеяльце. – Можно!

Брат открыл, вошёл:

– Доброе утро. Я правда тебя не разбудил? Очень понадобилось, прости. Со света не вижу. Разреши, одну ставню открою?

Прошёл осторожно, всё-таки толкнул туалетный столик, зазвякали флакончики – и открыл наружную ставню. Открыл – и весь ликующий день ворвался в комнату, и сразу пережалилось Ксенье, что она не выпалась: выпалась! И перевалилась на бок, под щеку руку, смотрела на брата.

А Роман при свете оглянулся, будто в этой маленькой комнате кроме сестры ожидал встретить врага. Из глубоких глазниц у него был режущий взгляд. А усы – как палки заострённые, не хотели расти с закрутом.

Но врага не оказалось. И в кулаке обнаруживая ключи от стенного сейфа, Роман шагнул отпираться.

– Я быстро, я сейчас уйду. Могу опять тебе затемнить.

Когда строился дом, несколько лет назад, эта комната предназначалась под кабинет Романа, потому здесь и вделали в стену стальную кассу. Потом решили, что сын будет в одном кабинете с отцом на первом этаже, а тут – Ксенья, но кассу так и оставили, для отдельных бумаг и денег Романа. Да сестра и бывала-то здесь лишь на каникулах.

Роман был складен фигурой – поджар, вёрток, в облегающем костюме английского спортивного типа, но недоставало ему роста. На нём было кэпи блекло-коричневое, в тон его костюму и штиблетам.

– Да ты не на автомобиле собираешься? – догадалась Ксенья. – Ты нас с Орей не покатаешь сегодня? В город? Или на Кубань туда, за Штенгеля?

Круглой, позорно здоровой, неприлично смуглой мордашкой на подушке Ксенья примечала надежду и жертву: для автомобильной поездки от чего отказаться, переложить на завтра? На краю экономии барона фон Штенгеля, превосходного соперника всех здешних экономистов, стояла столетняя дубрава, чудо степной окрестности. Автомобиль же был у Романа не какой-нибудь, но белый «роллс-ройс», каких в России, говорили, только девять экземпляров. Роман, ученый англичанином, сам правил автомобилем, да даже всё в нём понимал, и чинить мог, но не любил пачкаться в гаражной яме и держал шофёра.

Однако сейчас он обиженно потрогал, помял пальцами гнутый, широкий козырёк кэпи.

– Нет, я просто в гараж ходил. Покатаю, только не сегодня. Пусть решится сперва...

– Ах, в самом деле!.. Ой, прости, Ромашечка!..

Как же можно всю память заспать, да просто всё на свете забыть с вечера до утра – даже что война идёт! вообще – что война идёт на свете!! А уж тем более – что отец поехал хлопотать о Ромаше, что с ним решается. Да, и с автомобилем же! Просто нелепо: могут заставить сдать «роллс-ройс»! Ну, понятно, брату не до развлечений, суеверие даже.

Хотя, если откровенно говорить, Ксенья не понимала, как не стыдно мужчине уклоняться от армии. Ну, если единственный кормилец, – так Роман какой же кормилец? Не обязательно под пули, но вообще пойти в армию требует простая порядочность.

Однако он должен сам понимать, а сказать так брату Ксенья бы не решилась при всей незатруднённости и дружелюбности между ними с тех пор, как Ксенья выросла из ребёнка.

– А где Оря?

– Не знаю.

Роман уже отпер первую и вторую дверцы кассы и пригнулся к ней головой и плечами.

– А к завтраку ты не ходил? Там поста не отменили?

И сама же фыркнула. Роман в знак понимания слегка повернул голову, показал край уса и косой оскал губы. Нос у него был как у отца – с наливом, с нависом.

Кого тут убеждать! Из самого глупого, что велось в доме Томчаков, были посты. И сколько! Один бы Великий – ладно, можно понять, привозят священника, и сплошную неделю в экономии служба, говенья, причастия, всю прислугу, всех работников спешат очистить до начала посева. На Великий пост Ксенья всегда в отъезде, и Роман уезжает в столицы, возвращается только к Пасхе. Но едва минует Троица, как начинается совсем уже бессмысленный Петровский пост. И едва минует Петровский – заряжает Успенский. А чтоб до святок весёлых добраться, ещё надо с постной миной проходить Рождественский. А ещё ж на каждой неделе среда и пятница! Не обидно поститься бедняку. Но с такими деньгами, с таким выбором вкуснейшего, что только есть на свете, – и полжизни увечить себя постами? Совершенная дикость.

Сестру и брата то и объединяло, что только двое они во всей семье имели критические, передовые взгляды. Остальные были дикари, печенег.

Так же на боку, с поджатыми ногами и кулак под щекой, Ксенья размышляла вслух:

– Не знаю... Всё-таки последняя возможность мне бросить курсы – сейчас, в августе, пока год только один потерян. И – набор в школу босоножек.

Какое-то чувство интимности с кассой, да и сосредоточиться, требовало остаться с кассой вдвоём, не дать видеть сестре, что в ней и что он делает, хотя Ксенья ничего бы и понять не могла и не хотела. И шелестя хрусткими бумагами, Роман загородился от сестры, сутулясь.

– Если бы ты меня поддержал, – вздыхала Ксенья, – я бы скакнула!

Роман возился, молчал.

– Я уверена, что папа ещё и три года не узнал бы. В Москву и в Москву, вроде на курсы... А потом – покричит, посердится, неужели не простит?

Роман возился, почти головой туда, в кассу.

– Да даже и не простит – ну что делать?.. – так и этак играла губами Ксенья, оценивая. – А жизнь губить – лучше? На что мне эта агрономия?.. Зарывать наклонности – преступление!..

Роман прервался, выпрямился. Всё так же загораживая открытую кассу туловищем, обернул голову:

– Никогда не простит. И вообще – говоришь вздор. Тебе полный расчёт, единственный резон кончать именно агрономические курсы. Тебе цены не будет здесь.

Он смотрел острыми сообразительными глазами из-под чёрных густых бровей, из-под английского кэпи. Ксенья и головой замотала, и сgrimасничала – Роман как не видел. В чём бывал он убеждён – то выговаривал неотклонимо, и с такой мрачной строгостью, что побаивались и мужчины деловые, не то что Ксенья.

– Ты именно будешь сельским хозяином. Тебе во всяком случае обеспечена четверть наследства. А если мы с отцом окончательно поссоримся – то и больше. А всё бросишь – и голыми ногами по помосту? Безрассудство. Ты – не нищая девчёнка.

Но – девчёнка, но – ребёнок, доступный руководству. На целых семнадцать лет она была моложе, брат говорил с ней тоном почти отца с дочерью, и Ксенья слушала, хотя не убеждённая.

Опять повернулся в свою кассу. Если бы он был человеком корыстным, он как раз бы подтолкнул сестру идти в танцевальную школу: только поддакнуть её напору да похвалить один-два танца. Если Ксенья выйдет замуж и родит деду внука – старик, взъярённый на сына, может подписать внуку всё. Глубоко рассуждая, Роману выгодно, чтобы Ксенья пошла в балет и поссорилась бы с отцом. Но он не разрешил бы себе такого безчестного приёма, это противоречило бы избранному им английскому джентльменскому стилю. Он ей разумное говорил.

Взяв нужное и две стальных дверцы двумя разными ключами на полных два оборота каждую заперев, Роман ещё посмотрел на притихшую сестру, строго:

– И выйдешь замуж – за экономиста.

– Что-о-о? Да-ни-за-что!! Да лопните вы все!! – Ксенья вскинулась как уколотая, сорвала ночную повязку с головы, белками арапки мелькнули весёлые глаза. И – захохотала, зазвенела, руку поднимая к потолку, однако танцевально поднимая. Это был тот испуг, когда уже смешно, смешно! У экономистов та женщина красавица, какая на двух стульях помещается. – Уходи, я встаю!!

И едва он дверь прикрыл – толчком вскочила! ставню второго окна – распахнула! – а день! а солнце! а жизнь! – и на пол прыг! и к туалетному столику, из серого гнutoго дерева (весь гарнитур такой, к окончанию гимназии). Но поворотное зеркало, сколько ни наклоняй, – никак не берёт всей фигуры, – а только во всей фигуре вместе – только в сильных! не толстых! подвижных ногах! с маленькими! маленькими ступнями! – красота Ксеньи!!

Прыжок! Прыжок! Прыжок!

И опять близко. Круглое, румяно-смуглое, слишком простоватое лицо – хохлушки, степнячки, «печенежки», как дразнил Ярик в гимназические годы, и это очень её задевало. Хотя волосы не тёмные, и при карих глазах это – *интересно*. И с годами всё-таки выражение тоньше – гораздо тоньше – и интеллигентней – и задумчивей. Но всё равно, ненормально здоровый вид, совсем нет бледности, надо выработать бледность... Круглолицесть неумная, деревенская, безнадежно степное лицо! И зубы такие уж ровные, такие уж крепкие, только без-на-дежнее выявляют его! Разве можно выразить этим лицом – как ты уже образована? как ты стала тонко-тонко чувствовать красоту? Разве по этому лицу догадаться – на каких спектаклях ты бывала? сколько фотографий развешено, сколько статуэток расставлено – и здесь, и в московской комнате? И Леонид Андреев! и несколько Гельцер! и несколько Айседор! И сама Ксения – то в венгерской шнуровке и в сапожках со шпорами! то в воздушно-вуалевом, с медальончиком, босиком! – вся в полёте, подхвачено пальцами платье! – первая танцовщица харитоновской гимназии! – а может быть первая из ростовских гимназисток?!.. Как устоять?.. Чем ещё можно жить? Что ещё в жизни есть? – кроме танца? кроме танца! Какие летучие руки, недлинные! какие плечи, уже в наливе! вот шея бы выросла, ну немножечко бы тоньше и длинней! шея в танце сама говорит отдельно, она очень важна!

Умываться – не надо! Есть – не надо! Пить – не надо! Пустите потанцевать! Пустите потанцевать!

Через дверь – на балкон! А с балкона – в зал! Тут старая глупая плюшевая мебель, старикам выкинуть жалко. Вот где зеркало, вот где ты вся! Сама себе напевая – прыжок! Прыжок! Как это у неё получается! Она – как птица! Ступня удивительно маленькая, её всю можно забрать в мужскую ладонь. И такой толчок! И такой толчок! Это – школа босоножек: всей ступнёй, на носках они не ходят. Восстановить Элладу! Это даже не танец, это ор-хе-и-стическая иллюстрация! В греческой тунике склониться в отчаянии над погребальной урной. Или станцевать – молитву перед жертвенником. Слушайте, да ведь она почти как Айседора, она не уступает! И у неё ещё всё впереди, впереди!

...А уж одна горничная шла убирать зал электрическим пылесосом. А другая несла барышне нагретое на солнце полотенце: после ванны очень приятно обтираться таким.

Пока то, пока сё, пока завтрак – а степь разгоралась, жарко уже, никакая шляпа полястая не защитит, и лучше всего – в гамак, посреди сада, и – вся в белом, так легче.

Просвечивало белеющее небо, обезсиленное накалом, и даже в доброй тени чувствовалась густота зноя. Размытое им, достигало сюда попыхивание локомотивов с молотбы, машинное гуденье с делового двора да общее слитное жужжанье насекомых и мух. Ветра не было ни слабого.

Потом захрустел гравий. Ксения изогнулась – это Ирина подходила, в постоянной прямизне и сдержанности движений. Ксения протянула обе руки, как бы впотяжку, а – чтоб обняться, сегодня не виделись. Ирина нагнулась. Ксеньина книга сама закрылась и сползла, упёрлась в ромб гамака. Ирина не упустила, кивнула укорно:

– Опять французская?

Книга была английская, но не в этом... Рассыпчатой подколкой волос откинута в тугую гамачную сетку, Ксения просительно сморщила носик:

– Ну, Оренька, ну неужели же мне – житие Серафима Саровского?..

Оря стала к стволу каштана, не касаясь его, кажется не испытывая желания расслабиться, не отдыхая ни правой, ни левой ногой. А смотрела – скорей благожелательно-насмешливо:

– Нет, но в твоём чтении я совсем не замечаю русского.

– А – кого? – с проходящей непрочной досадой досуга отозвалась Ксения. – Тургеневы все перечитаны, надоели сто раз. От Достоевского меня дёргает, руки сводит в судороги. А вот Гамсуна мы не читаем, Пшибышевского, Лагерлёф – это тебя не безпо-коит!

В этой семье Ирина застала Ксенью застенчивой одиннадцатилетней девочкой и направляла до тринадцати, до отъезда в ростовскую гимназию. *Та* Ксения была воспитана в Боге и не знала большего упоения, чем подражать невестке в постах, молитвенном стоянии, в преданности русской старине.

С затуманенным лбом покивала Ирина, покивала:

– Отходишь ты...

– От чего? от хохлацкого? – выхватывали живенькие каренские глазки. – Истинно хотела бы отстать, но – как? От этих женихов *экономических* дёгтем воняет, с ними разговаривать от смеха разорвёт! Мордоренко Евстигней!.. – Только вспомнив, она уже душилась от смеха. – Как он плакал, что его угонят в Париж?!..

Переняла и Оря, на её многозначительно-строгом лице нос-то был расплюснут к концу, проявляя склонность к юмору, да и губы были склонны дрогнуть при смешном. У неё и малая улыбка значила, сколько ксеньин хохот нарастает.

Этот долдон мордоренковский держал своих скаковых лошадей, им подошла пора выступать в Москве, но в чём-то провинился Евстигней перед отцом, и тот в наказание велел ему вместо московских скачек ехать в Париж. И лошадино-здоровый Евстигней, не пропускавший в экономии ни одной девки, ни даже гувернантки, тут сел и рыдал двое суток, размазывая слезы, и просил не гнать его в Париж.

– Или как они на здешних балах женщин качают! – тряслась Ксения.

Как качают юбиляров, так пьяные экономисты на своих диких сборищах подхватывали молодых женщин, своих же жён и невесток, да подбрасывали их в дюжину рук, чтобы платья развевались, и норовя за ляжку схватить. (Надменно держась среди экономистов, Роман с таких *балов* Ирину уводил, чем обижал всех очень.)

– Вообще – судьба! На визитной карточке, представляешь: Ксения Захаровна Томчак! Так и несёт не то тачанкой, не то овечьей шкурой, в порядочном доме и не примут.

– Но если бы не эти овцы, Сенечка, ты б не увидела ни гимназии, ни курсов...

– Да лучше б и не увидела! Не знала б, что потеряла. Вышла б за такого печенег с десятью мельницами, фотографировалась бы как каменная баба позади мужниного стула...

– А тем не менее, – вговаривала Ирина с тихой настойчивостью, – народные основы...

– *Здесь* – народные основы? Печенежские?!

– Вот здешнее всё, – упрямо вела Ирина, с челом прихмуренным, и напряжена была её изгибистая высокая шея с голубыми прожилками, – гораздо ближе к народным основам, чем твои просвещённые Харитоновы, равнодушные к России.

Ксения загорячилась, заёрзала в гамаке, упёрлась в тугие ромбы:

– Боже мой, ну откуда у тебя эти неподвижные категорические суждения! Никогда ты никого Харитоновых не видела – почему ты их так терпеть не можешь? Все честные, все труженики – чем тебе их семья не угодила?

От резких поворотов Ксении через ячейку гамака провалилась книжка.

Ирина уверенно покачивала голову с башенкой накрученных волос:

– Никого не видела, а всех таких знаю. Они все только клянутся народом, а к России...

– Но Харитоновых – не смей! не трогай! – уже раздражилась Ксения.

Ну, не так повела, Ирина раскаивалась. Не надо было Харитоновых прямо. Но:

– Мне горько, Сенечка, что тебе всё здесь стыдно и смешно. Правда, многое. Но зато и народная жизнь, самая твердь под почвой. Тут – и хлеб родится, не в Петербурге. Тебе – и посты лишние. А в постах – люди вырастают.

– Ну ла-адно, – жалобно просила Ксения. И спорить было лень, а что-то и правильно.

– Я только хотела сказать, – как можно уступчивее вывела Ирина, – что мы очень легко смеёмся, нам всё смешно. Висит в небе комета с двумя хвостами – смешно. В пятницу было затмение солнечное – смешно.



А уж Ксения вовсе не спорить хотела, сердитость её как нанеслась, так и унеслась. Она жмурилась на лиственно-солнечный потолок:

– Ну, правда же... Есть астрономия...

– Да астрономия пусть как угодно, – стояла Оря спокойно на своём. – А вот шёл князь Игорь в поход – солнечное затмение. В Куликовскую битву – солнечное затмение. В разгар Северной войны – солнечное затмение. Как военное испытание России – так солнечное затмение.

Она – загадочное любила в жизни.

Ксения наклонилась цапнуть книжку с земли, чуть сама не вывалилась, и растрепались волосы, а из книжки выпал распечатанный конверт.

– Да! Я ж тебе не сказала! – от Ярика Харитонов письмо. Представь: их срочно выпустили, на второй день войны! Письмо – уже из Действующей армии! А пока дошло до нас – он бьётся где-нибудь! И – радостное письмо! Доволен!

Одногодок, вместе уроки готовили, как любимый брат! – с нежностью, гордостью думала Ксения о нём.

– Откуда же штемпель?

– Штемпель – Остроленка, надо у Ромаши по карте...

Прямые орины брови сдвинулись – смущённо и одобрительно:

– Из такой семьи – и патриот, офицер! Вот в этом я вижу *знак*.

...А – её муж?.. А с мужем ей что?..

## 5

### ***Ростовские дела Захара Томчака. – Какая гимназия наилучшая? – Беседа с Аглаидой Федосеевной. – Пристроил жить у начальницы. – Успехи Ксении. – Одно забыл спросить Томчак.***

В скажённом этом городе Ростове привык Захар Фёдорович делать дела, да только не такие. Больше всего он ездил в Ростов насчёт машин: все новые машины появлялись там, и можно было посмотреть и пощупать, и объяснялось хорошо, как они действуют. Покупал он там, опережая всех экономистов, а то и самого барона Штенгеля, дисковые сеялки от Сименса, и пропашники картофеля, и те плуги новые, идущие на длинных ремнях между двумя локомотивами. Иногда большие сделки на зерно и на шерсть подписывал там (самим французам зерно продавал). И конечно сам покупал: рыбу – где ж как не в Ростове рыба! – и другое из харчей и вещей. А кодась-то пойихал только купить перчатки, какие хотел, – чтоб внутри беличий мех, а снаружи замша, в Армавире таких не случилось, – да уговорили чертогоны: на прида-ток купил ещё и автомобиль «русско-балтийскую карету» за семь с половиной тысяч. Когда-то гыркал на сына за «томаса», твёрдо считал, что от той зверяки, как она вкруг поля объехала, – и гроза ударила, и хлеб полёг. А вот и сам подыскивал шофёра, хорошо виноградарский сынок научился в армии, он и стал.

Всю эту куплю-продажу в Ростове Захар Фёдорович справлял гладко, и нравилось ему, как швыдко все ростовские крутятся при делах, – а вот гимназии никогда он там не видел ни одной, где стоят, вывески не замечал. И когда подговорили его Роман с Ирой забрать Ксению из пятигорского пансиона да в ростовскую гимназию, то с заминкою повёз он дочку в Ростов, потому что в товаре таком, как гимназия, толку не смыслил, и наверняка б его околпачили, подсунули б, какая хуже.

Но в тот раз надо было ему по делу посетить одного умнейшего жида, почтенного человека – Архангородского Илью Исаковича. Тот Архангородский был первый знаток по мельни-

цам, и по самым новым, хоть электрическим, хоть каким хочешь, до того был знаток, что без его конторы ни одной мельницы не ставили от Царицына и аж до Баку, и когда туз Парамонов затеял в Ростове пятиэтажную, так тот же Архангородский ему и ставил. Вот и надумал Томчак, что Архангородский ему дурно не скажет, спросить его: якá гимназия наилучшая, куды дочку отдать? И Архангородский добро отгукнулся, сказал, что хоть есть казённая Екатерининская и ещё другие, но лучше бы всего он советовал отдать в частную гимназию Харитоновой, где и его дочь уже учится, Соня, в четвёртом классе. Сравнили возрастá – той и той тринадцать, так вместе и сидят, гáрно.

Сразу и подружка, понравилось Захару Фёдоровичу. А что гимназия частная, не казённая, так особенно хорошо: только те дела и надёжны, где сам хозяин во главе, а где казна да казённые служащие – там добра не жди николи.

Когда ездил Захар Фёдорович в Ростов, надевал он костюмы, по времени года шерстяные или чесучовые, надевал и шляпу фетровую, или брал зонтик для фасону, но забывал об этом вскоре и так шагал и руками махал, как у себя в стéпу, соскочив с дрожек в чумацком плаще и смазных сапогах. А ещё, как раз перед тем, надоумила его невестка заказать сотню визитных карточек, будто нужно так обязательно. Но только грóши гынулы задармá: у торговых и деловых людей, кого посещал Томчак, и в банках, и на бирже, никто тех теребенек другу другу не совал, и вся сотня лежала в кармане целая, как неигранная карточная колода. И только когда бился Старого собора Томчак подъехал к гимназии Харитоновой – разменял он ту сотню: первую карточку послал через швейцара наверх.

Аглаида Федосеевна оказалась барыня важная, рассудительная, только в щипоноске, уж носила б очки, а то та щипоноска с носа сваливается. Такой серьёзной женщине вполне можно было доверить дочку в дальнем городе, не разбалуетсá, хоть по полгода её не видь.

А что сам он может начальнице не понравиться – у Захара Фёдоровича и минуты в голове не было. Все Томчаки по мужской линии отличались тем, что упрямство, хмурость и брань выворачивали дома, а при гостях и в гостях были весельчаки и лучшие собеседники. Такого общества не было и такой женщины не было, которым бы Захар Фёдорович не понравился в разговоре, когда хотел.

И действительно, картинный этот хохол, с резкими чертами, мохнатыми бровями, крупным носом разляпистым, в маскарадном городском костюме с цепочкою часов на самом видном месте, – своей, однако, открытостью, юмором, но и патриархальным достоинством, а больше всего степным ветряным напором, от которого еле бумаги не срывались со стола и календарь сам переворачивался, – ошеломил Аглаиду Федосеевну и очаровал. В обществе, где она обращалась, много знали и понимали, много вздыхали и мечтали, да не было ни у кого такой энергии, такой страсти действовать сейчас же, выскочив из кресла. Томчак и разговаривать-то приличным полуголосом не умел, в кабинете начальницы едва не кричал, будто рядом арбы скрипели и прогоняли мычащий, блеющий скот, так же громко и хохотал, – но Аглаиду Федосеевну, тонную хранительницу именно полуголоса и сдержанных манер, всё это не только не покорило, но увлекло свежестью. И даже явная его прикраса, что он четыре гимназии объехал и все ему не понравились, а эта сразу нравится, с лестницы, со швейцара, – даже наивное лукавство это умилило её. И хотя четвёртый класс у Харитоновой был укомплектован, никого больше она не собиралась принимать, да ещё какую-то дикую девочку, конечно недоученную, – но за десять минут она согласилась принять, и не только не указала, как умела насупленно, что ждут её другие занятия, а поддалась простодушию весёлого хохла, стала о нём самом расспрашивать и велела подать кофе.

Не скупясь на подробности и на шуточки, уверенный, что тут только и ждали его послушать, Захар Томчак рассказал, как в детстве был простым чабаном в Таврии, пас чужих овец и телят; как они, тавричане, приехали на Кавказ найматься батрачить, и получал он тогда много меньше, чем платит сейчас последнему прихожему рабочему, не говоря о постоянных своих

мастерах; что только через десять лет дал ему хозяин десять овец, тёлку и поросят – и с того завертелось всё его сегодняшнее богатство, трудами и боками. Спросила начальница про его образование – полтора класса церковноприходской, как раз научился, сколько надо ему: Библию читать да Жития святых, по-русски, алэ и по-славянски, а писать – плохо совсем, а ни при одной купле его не обманешь. Про семью спросила, и поведал он, какое испытание ему Бог послал: в неделю шестеро дѣток вымерло, уся середина потомства. Стали слезы у него, вытер платком. И потом про экономию рассказывал: как кирпича-железняка звенящего сами в печах самодельных вот выжгли миллион штук, ещё и продадут, ма́буť останется; как новый дом плановал с архитектором сам, окна нет без жалюзѣй снаружи и ставен внутри, так что жара никакая нипочѣм; четыре линии водопровода положили, своя электрическая дизельная станция у них уже стоит, теперь садѡвлят парк, а по нему расставят фонари, – да просто зовѣт он начальницу на следующее лето приезжать с детишками гостевать.

Слово за слово и начальница о себе рассказала, что она овдовела недавно, был её муж – инспектор казѣнных гимназий; что детей у неё трое: дочь кончила только что гимназию, теперь в Москве будет учиться, а старшему сыну Ярославу тринадцать, от рук отбивается: хочет гимназию бросать да в пустиголовые идти, в кадеты.

Объявила она, что плата за обучение – двести рублей в год, в пять раз больше казѣнной, потому что... – Томчак едва не обиделся: «Скикы платыть – я и сам знаю. У вас быкив нѣма, пидсѡнухив на масло нѣ жмѣтэ и квасоль нѣ ростэ – на шо-то надо дитѣй содѣржуваты». Спросила, где девочка будет жить, – Томчак тут-то и взжалился: «Та нѣма ей дѣ дитѣся, дытыни бидной! У таком городе кружѣном як йийи без глазу оставлять? А чы, може, у вас бы и жила?» (Он это с первых минут и придумал! Он для того тут и прихотни тачал, и кохвий пил, и на кумыс приглашал, хоть его другие дела пекли, волокли.) «Как вы это понимаете?» – чего угодно ожидала Харитонова, не этого только. «Та шо ж у вас – комнат нѣбогацько? Вот старша, кажѣтэ, закинчыла, до Москвы пойдѣ, – замисто йийи мою и визьмить. Та вы мѣни хочь усих трѣх своих давайтэ, я йим зараз мисце найду!»

Как это было ни дико, ни нахраписто, но после всего разговора, дружелюбия и смеха уже невозможно было вернуться к той первоначальной нерастопляемой ледяности, которою Аглаида Федосеевна умела отпугивать. Она вразумляла хохла, объясняла, почему нельзя, так не делают, ученица не может жить у начальницы на квартире, она свою собственную дочь учила не у себя, а в казѣнной, чтоб не было и тени благоприятствования, – ничего этого хохол не усваивал, сыпал свои прибаутки да пытался её растрогать: «А тоді куды ж мѣни йийи? Чужим людям нѣ оставлю. Назад, та за овцами ходыть. А дивчына шибко розумна». – «А я вам кто? не чужой человек?» – «Вы? – ни! вы – своя людына, зовсим своя!» – так уверенно, радостно наседали хохол, что начальница и понять не успела, в чём же они с этим дикарѣм такие свои?

Томчак хорошо видел, как он начальнице понравился, и что дочка тоже понравится, алэ не надо напирать сразу. И свѣл на шутку, об одном только просил: нельзя ли девочку на три дня приютить, пока он тут сделки заключает, по конторам ездит, ещё и в Мариуполь ему, а на кого дочку в гостинице оставишь? А вернѣтся – и найдѣт ей квартиру.

И начальница сама не заметила, как дала себя уговорить. Томчак даже ручку ей поцеловал (он не умел, но видал, как делают) и порывом ушѣл. Ещё прежде, чем он привѣз эту пугливую девочку в домашнем клетчатом платице с поясом-кушачком, не смевшую перед величественной дамой в пенсне ни повернуться, ни сѣсть, – к другому подъѣзду (квартира начальницы была в здании гимназии) подвезли фарфоровый бочонок осетровой икры, от Филиппова торт в квадратный аршин и ещё коробки. Не могли же не к делу быть лишние грѡши хоть бы и этой образованной начальнице, хоть и в щипоноске. Да платить людям вперед и по совести – не подкуп, не покупка, не мог бы Томчак объяснить, а про себя понимал: щедро платить за всякое дело создаѣт между людьми дружбу и добро.

За три дня, что Томчак был в отъезде, Ксения проявила себя чистоплотной, послушной, восприимчивой к навыкам и к урокам, это быстро замечает опытный глаз. Комната дочери пустовала, мальчиков можно было и не расселять, и решила Аглаида Федосеевна, что будет даже хорошо: при двух сыновьях пусть в доме растёт девочка, это будет влиять на них. Только вот молится ребёнок избыточно: и утром, и вечером подолгу, на коленях. Но тем заманчивей взять девочку из тёмной семьи и переделать на девушку передового толка. Условия поставила: Ксения будет ездить домой лишь на каникулы, а в году отец не будет вмешиваться ни во что. Да Захару Фёдоровичу лучше того и не надо: начальница правил строгих, чего ж для девочки ещё?

Томчак не задумывался, какое первейшее испытание возложил на дочь: жить на квартире начальницы и не прослыть меж одноклассниц фискалкой. Впрочем, от этой опасности её оберегла и начальница: дорожа либеральным духом своей гимназии, она никогда не позволяла себе и классным наставницам прибегать к осведомлению через тайные допросы и доносы учениц. Ни одного такого вопроса за годы не задала она и Ксенья. Она и её покойный муж считали главной задачей воспитания юношества – воспитание *гражданина*, то есть лица, враждебного властям.

Способности Ксении и её усидчивость превзошли догадки Аглаиды Федосеевны. Переходы между гимназией и квартирой занимали у девочки одну минуту, не час в день, как у всех, и этот час тоже шёл на занятия. Сам процесс занятий завлекал её выше гимназических наград. Ниже пяти с минусом у неё не бывало выводной отметки ни по какому предмету, а особенно расцвела она в иностранных языках, из которых ни одного не знала, придя: в гимназии Харитоновой было два обязательных, Ксения, кончая с золотой медалью, уже свободно читала на трёх. (И так любила она свою гимназию, не мысля дня пропустить занятий, такая робкая сохранялась долго, что отказалась от ориного приглашения поехать с ними в большое заграничное путешествие.)

Больше языков – больше и книг. Детскими и недетскими, ими уставлены были многие шкафы в квартире Харитоновых, и почти не было здесь общих с теми, что читала Ксения у Ори, – ну разве, может быть, Гоголь да Диккенс. Когда издано было толщиной и бумагой, как Библия, – так не Библия была, а Шекспир со страшными картинками.

И с каждым полугодием, каждым месяцем этих четырёх гимназических лет мир прежней ксеньиной жизни развивался ей как дикий тёмный угол. Да каким позором была одна развязность отца – предложить начальнице взять дочь на постой! Приезжая домой на каникулы, Ксения в ужас приходила от густоты домашней невоспитанности. Однажды привозила она с собой Соню Архангородскую и её глазами ещё острее увидела всю эту первобытность, и сгорела от стыда. Не подвернись агрономических, она на любые всякие другие курсы бы уехала, чтобы только обращаться в культурном мире.

Ничего не осталось и от её прежних старательных утренних и вечерних коленных молитв: помаливалась она теперь дома бегло, в церковь ездила со всей семьёй, когда нельзя уж не поехать, – а стояла рассеянно, крестилась неловко.

И спохватился Томчак, что одну только малость забыл тогда спросить у начальницы: со своей всей гимназией – верует ли в Бога она?

#### ДОКУМЕНТЫ – 4

*11 августа*

**ФРАНЦУЗСКОЕ М.И.Д. – ПОСЛУ В ПЕТЕРБУРГЕ  
ПАЛЕОЛОГУ**

**...настаивайте на необходимости наступления русских армий на  
Берлин. Предупредите русское правительство неотложно...**

6

***Роман Томчак в одиночестве. – Его путешествия. –  
Политические грёзы. – Как отдавал деньги террористам.***

Нисколько не было Роману тягостно провести наедине хоть и неделю: лишь бы всё было ему вовремя подано, а интересней и приятней самого себя он никого не знал.

Пожилому лакею с бакенбардами он подробно заказал обед себе на одного – сюда, на веранду, пока солнце ещё не заглянет. С особым вниманием спросил и отобрал рыбные закуски. (От ростовского рыбного торговца Томчакам высылался с проводником пассажирского поезда то бочонок, то пакет; на станцию выезжал казак и платил проводнику за безпокойство.) Был смысл пообедать со вкусом и без поправок – одному, пока старик не вернулся. Вернуться он может перед вечером, там два поезда рядом. Но – в ссоре они, и Роман не может заискивать, встречать его на станции.

Соучастником волнений был сегодня и лакей: брат его, шофёр Романа Захаровича, подлежал призыву, однако в числе других важных работников при удаче мог быть отхлопотан *учётным*.

Роман-то был *единственный кормилец*, один сын в семье, и никак не мог бы подлежать призыву. Но слухи потянулись, что льготы эти отменят, если натурально кормильцем не является, в манифесте об ополченцах три дня назад было неясно сказано о *пропущенных* прежними призывами, – отец и поспешил к воинскому начальнику закрыть и закупорить при всех случаях.

Тут, на остеклённой веранде второго этажа, при спальне, стояла и любимая кушетка, отобранная из жениного гарнитура: с плавногнутым подъёмом изголовья, так что не лежишь, а на треть сидишь. Не подымаясь, и без подушек, можно курить, читать газету или вот теперь, так повешена, рассматривать на стене карту военных действий.

Из ростовского магазина по телеграфному запросу прислали Роману набор флажков воюющих государств для вкалывания линии фронтов. И он уже начал вкалывать, но тут как раз возникли эти слухи о снятии льгот – и весь дымок очарования и интереса как сдуло с карты, только душу щемило смотреть на кривые линии границ, кружки городов, чужие названия.

Роман поджёг золотой зажигалкой папиросу особого размера. В путешествие медового месяца, за границу, Ирина подарила мужу золотой портсигар – удлинённый, каких в России не было папирос. Как джентльмен, Роман не мог пренебречь первизной и ценой подарка, поэтому отказался от покупных папирос, а заказывал ростовской асмоловской фабрике по двадцать тысяч гильз удлинённого же размера, и вызывали из Армавира специальную девицу набивать всю партию табаком.

Но и куренье никакого удовольствия не доставляло сегодня.

Сел за ломберный столик, разложил бумаги из кассы, постарался заняться расчётами. Окончил Роман всего четырёхклассное училище: тридцать лет назад на Мокром Карамыке только на ноги становились, и в голову не могло прийти, что сыну хорошо бы в гимназию. Потом начинал коммерческое училище, не кончил. Однако цифровая хватка была у него хороша. И к хозяйствованию большие способности, но обидно быть подручным при напористом отце, не терпящем перебору и тоже сметливом редком удачнике. Ждал Роман своего отдельного часа! А пока капитал позволял ему хоть и совсем не участвовать в отцовском хозяйстве. Каждый год на два месяца в Москву и в Петербург, на два месяца за границу. В Москве катать на рысаках, в «Элите» на Петровских линиях брать отделение «люкс», перебивая у иностранцев, а в Большом театре, когда уже все сидят, проходить в смокинге в первый ряд

партера... В путешествиях себя особенно любил Роман. Так одеваться, чтобы даже знакомые у Нарзанной галереи тебя принимали за англичанина. А Европу поражать русской решительностью и своеобразием. В Лувре, в пурпурной круглой комнате, где Венера Милосская, но ни одного стула, чтобы никто не сидел, повелительно протянуть служителю десятифранковую бумажку: «ля шэз!» А переходя в следующий зал, показать: «Теперь – туда ля шэз, туда!» – потому что долго ещё будет жена разные черепки смотреть, уже курить хочется, и даже обедать.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.